

ЧЕСТВОВАНИЕ ДАРВИНА В КЭМБРИДЖЕ ¹⁶³

Читатели «Русского слова» уже знают, что недавно в Кэмбридже состоялся праздник в память столетия со времени рождения Чарльза Дарвина и пятидесятилетия со времени выхода в свет его книги о происхождении видов путем естественного подбора наиболее приспособленных особей. Из напечатанных в «Русском слове» телеграмм и краткого отчета лондонского корреспондента читатели могли заключить, что празднество это было обставлено самым блестящим образом и удалось на-славу.

В виду всестороннего интереса, который представляет учение Дарвина об изменяемости видов, быть может, не лишне рассказать подробнее обо всем происшедшем за три дня чествования памяти Дарвина в живописном старинном университетском центре Англии.

Прежде всего нужно отметить, что уже самый факт выбора Кэмбриджа для такого празднества имеет большое значение. Кэмбриджский университет, в котором богословский факультет играет немаловажную роль, долгое время относился далеко не дружелюбно к уяснению об изменяемости видов и о происхождении человека от обезьяны или обезьяноподобных предков. К тому же трехлетнее пребывание Дарвина в Кэмбридже не связано непосредственно с его естественно-исторической деятельностью. В то время он готовился быть пастором, изучал богословие и только начинал интересоваться природой под влиянием Генслоу.

Первое время после обнародования теории Дарвина многие профессора Кэмбриджского университета относились к ней отрицательно и только гораздо позже примирились с ней и оценили ее. Поэтому-то так знаменательно, что Кэмбридж

захотел отпраздновать память Дарвина. С этой целью он пригласил множество ученых и собрал весь цвет биологической науки обоих полушарий.

Накануне официального торжества съехалось большое количество ученых со всего земного шара. Они собрались вечером в торжественном зале Кэмбриджского университета. Многие явились в форменной одежде, что придало собранию вид какого-то маскарада. Большею частью тут были доктора великобританских университетов в красных мантиях с разного цвета обшлагами; изредка встречались русские ученые в звездах с лентами. Особенное внимание обратили португальские представители с лиловыми шляпами в виде каких-то пирожных. Шляпы эти до того понравились бывшему тут же директору Берлинского этнографического музея, что он выпросил себе одну из них для пополнения его коллекции. Немецкие ученые были в мантиях менее ярких, но с разнообразными атрибутами, смотря по университету или академии, представителями которых они были. Рассматривая эту пеструю толпу, сосед мой поразился проходившим мимо ученым, осененным длинной седой бородой и одетым в средневековую черную мантию и такой же берет. На обращенный ко мне вопрос, кто бы мог быть этот муж с такой величественной осанкой и красивой физиономией, я, не долго думая, ответил, что это — сам доктор Фауст, легенда о котором была увековечена Гете. В действительности же это был знаменитый профессор Бючли из Гейдельберга, один из выдающихся немецких биологов.

Но больше всех обратил на себя внимание старик Гукер, друг и современник Дарвина, ранее всех посвященный в теорию последнего о происхождении видов путем естественного подбора. Ему теперь почти девяносто три года, и особенно поэтому на него были обращены взоры всей собравшейся публики. Из других стариков — свидетелей возникновения дарвиновской теории, оставшихся в живых, никого не было. Не было Уоллеса, не решившегося приехать из боязни усталости. Не было и менее старого Дайера, бывшего директора сада в Кью, помогавшего Дарвину в его работах по ботани-

ке. Немецкие ветераны дарвинизма Геккель и Вейсман тоже отсутствовали.

На Гукера смотрели как на особенную диковину. В действительности он очень дряхл и может служить указанием на то, что долгая жизнь ценна не сама по себе, а лишь в том случае, когда она совпадает с сохранением умственных способностей. Было жалко смотреть на этого старца с открытым ртом, машинально повинующегося жестам и указаниям его гораздо менее старой супруги. Нет, такое долговечие совсем нежелательно.

Первое вечернее собрание было исключительно посвящено личному знакомству съехавшихся многочисленных ученых, одним присутствием своим доказывавших то чрезвычайно высокое положение, которое занял Дарвин в современной науке.

На другой день состоялось официальное заседание, на котором были поднесены многочисленные адреса всевозможных академий, университетов и ученых обществ. Адресов этих было такое большое количество, что их читать оказалось невозможно. Со временем они будут напечатаны в сборнике, посвященном описанию праздника в честь Дарвина. Из всех этих адресов я знаю только один,— тот, который был поднесен мною от имени Пастеровского института в Париже. Он краток и потому может быть приведен здесь целиком. Вот его содержание:

«Пастеровский институт присоединяет свое чествование к тем, которые со всех сторон высказываются сегодня для почтения памяти великого мыслителя, каким был Чарльз Дарвин. Наука о микробах, как и вообще все отрасли биологии, воспользовалась теорией развития, и, со своей стороны, она сама представила поразительное подтверждение дарвиновской теории. Великое открытие Пастера об ослаблении болезнетворных начал является доказательством пластичности видов микробов и легкости, с которой изменяются их основные признаки. История болезней, вызываемых микробами, указывает также на великую роль, которую бесконечно малые играют в естественном подборе. Не они ли ведут в

течение веков к исчезновению многие виды растений и животных, недостаточно приспособленные для того, чтобы устоять против них? Поэтому возможно предвидеть, что развитие микробиологии даст учению об изменяемости видов новые и осязательные примеры истинности учения Дарвина. Пастеровский институт не мог не принять участия в этих празднествах и не поднести сегодня этого адреса в знак восхищения его членов перед гением Чарльза Дарвина».

После длинной процессии приветствий и адресов представителей всех пяти частей земного шара были произнесены четыре речи. Одна из них, сказанная берлинским анатомом Оскаром Гертвигом, касалась влияния, оказанного дарвиновской теорией на германскую науку, равно как о роли, какую сыграла эта наука в распространении и признании учения Дарвина. Речь американского представителя, известного палеонтолога Осборна, осветила значение дарвинизма в палеонтологии, которая с таким успехом разрабатывается в Америке. Представитель английских ученых сэр Рай Ланкестер с особым ударением отметил, что все основные положения теории Дарвина остались незыблемы, несмотря на нападения, которым она подвергалась в течение пятидесяти лет. Краткая речь автора этих строк была посвящена связи между дарвинизмом и медицинской наукой.¹⁶⁴ Та истина, что человек находится в кровном родстве с животным миром, легла в основу сравнительной патологии. При помощи изучения низших организмов оказалось возможным установить, что воспаление не есть проявление болезни, а лишь реакция организма против болезнетворных начал. При разработке труднейших задач медицинской науки, между которыми первое место занимает вопрос о злокачественных опухолях (рак, саркомы), теория о происхождении видов дает ценные указания. Она не допускает предположения, которое очень распространено среди патологов, что эти опухоли развиваются из заблудившихся зачатков зародышевых пластов. Наоборот, с точки зрения дарвинизма, тот факт, что у низших животных, имеющих зародышевые пласты, опухоли все-

гда развиваются под влиянием паразитов, указывает на подобное же происхождение раковых опухолей у человека.

Послеполуденное время 10 (23) июня было посвящено «garden party»* в коллегии Христа (Christ's College), за которым следовал банкет, собравший более пятисот сотрапезников, и, наконец, ночной праздник у вице-канцлера Кэмбриджского университета, на котором посетители прогуливались в парке, освещенном феерически разноцветными огнями.

На другой день состоялось торжественное собрание, на котором были провозглашены почетные доктора и между ними наш известный симпатичный соотечественник, московский профессор ботаники К. А. Тимирязев. После «garden party», устроенной семьей Дарвина, большинство посетителей разъехалось по домам.

Все празднество было организовано превосходно и вызвало единогласные восторженные отзывы. Главное его достоинство заключалось, однакоже, не в самых торжествах, а во встрече лучших биологов всего земного шара, что дало возможность в самое короткое время многому поучиться.

Первое время после провозглашения теории Дарвина ее старались опровергнуть в самом основании. Все возражения, однакоже, оказались несостоятельными, так что с годами теория получила еще более прочную почву под ногами. Потом стали изучать явления изменчивости и наследственности — этих главных факторов происхождения видов. С течением времени возникло новое направление, приписывающее особенно важное значение резким скачкам в деле возникновения новых видов. Одним из первых провозвестников этого учения был скончавшийся петербургский академик Коржинский. Позже в том же направлении стал работать известный амстердамский ботаник Гуго-де-Фриз. Ему удалось из семян одного американского растения (*Oenothera Lamarckiana*) получить целый ряд резко друг от друга отличающихся форм, которые с первого раза можно признать за совер-

* «Прием в саду» (англ.). Ред.

шенно самостоятельные виды. Несколько лет назад мне удалось самому убедиться в справедливости показаний де-Фриза, который показал мне в амстердамском ботаническом саду выращенные им разновидности и дал их образчики.¹⁶⁵

Наблюдения этого ученого легли в основу его теории о происхождении видов путем «мутаций», т. е. посредством изменяемости резкими скачками. При этом естественный подбор, обнаруживающийся переживанием особей, наилучше приспособленных к окружающим условиям, имеет дело не с мельчайшими, трудно улавливаемыми индивидуальными признаками, а со значительными отличиями, легко кидающимися в глаза.

К теории де-Фриза примкнули многие ученые, между которыми назовем кэмбриджского профессора биологии Бэтсона и утрехтского зоолога Губрехта. Даже сын Дарвина Фрэнсис, известный ботаник, разделяет воззрения неodarвинистов. Против них, однакоже, восстали правоверные дарвинисты, к передовым бойцам которых принадлежит вышеупомянутый Рай Ланкестер. В своей речи на дарвиновском празднестве он задел де-Фриза и Бэтсона, хотя и не называя их. Подобно другим правоверным, Ланкестер думает, что явления, замеченные на *Oenothera*, не имеют общего значения, так как они относятся не к дикорастущему растению, а к искусственно разводимой разновидности, являющейся, вероятно, продуктом скрещивания с очень давних времен.

Здесь, конечно, нет возможности распространяться о двух современных школах по вопросу о происхождении видов. Достаточно сказать, что обмен мыслей, который оживленно происходил во все времена продолжения кэмбриджских торжеств, привел к тому, что новодарвинизм имеет серьезное основание, и что если и невозможно считать правоверный дарвинизм сданным в архив, то, очевидно, многие из положений Дарвина должны подлежать новой переработке.¹⁶⁶ Отсюда, конечно, не следует, чтобы было возможно умалять огромную заслугу дарвинизма. Учение об естественном подборе как о регуляторе изменяемости организмов остается в полной силе. Благодаря ему сделался понятным факт гармо-

нического приспособления организации к окружающим условиям — факт, до Дарвина не поддававшийся рациональному объяснению и открывавший двери метафизике. И ранее Дарвина многие думали, что виды произошли путем изменчивости, но никто не имел уверенности в этом, и поэтому никто не смел строить на этом положении дальнейшие выводы. С вмешательством Дарвина все изменилось. Открытие естественного подбора дало прочную точку опоры, на которой уже построено много новых истин и немаловажных приложений. Так как эти результаты заслужили всеобщее признание и так как дальнейшая разработка учения о происхождении видов, в том числе и неодарвинизм касаются лишь второстепенных пунктов, то отсюда ясен тот всеобщий энтузиазм, выразившийся в чествовании Дарвина в Кэмбридже.

Париж,

5 июля (22 июня) 1909 г.

ДЕНЬ У ТОЛСТОГО В ЯСНОЙ ПОЛЯНЕ ¹⁶⁷

Благодаря обязательному содействию М. А. Стаховича мне удалось провести целый день в Ясной Поляне в обществе Льва Николаевича Толстого. ¹⁶⁸ Это было в конце мая 1909 г. Так как некоторым читателям, быть может, не безынтересно познакомиться с содержанием наших бесед, то я передаю их по воспоминаниям.

Я с давних пор интересовался Толстым не только как гениальным писателем, но и как человеком, старавшимся разрешить некоторые самые общие вопросы, волнующие мыслящее человечество. Меня особенно задевала его проповедь против науки, так как я опасался, чтобы она не оказала дурного влияния на молодежь. Я даже в начале девяностых годов напечатал в «Вестнике Европы» статью «Закон жизни», в которой старался разобрать и по возможности опровергнуть нападки Толстого на науку. На основании чтения его статей, и особенно статьи «О назначении науки и искусства», я думал, что выводы Толстого основаны на некотором рациональном мировоззрении, приведшем его к отрицанию положительного знания и его результатов, в которых я видел и теперь вижу залог лучшего будущего. Однако же мои поиски какой-нибудь системы у Толстого, т. е. цельного и последовательного развития его взглядов, не привели к положительным результатам. ¹⁶⁹

Хотя впоследствии и оказалось, что влияние Толстого на учащуюся молодежь очень незначительно именно в философском отношении, тем не менее меня всегда очень интересовал вопрос о том, каким образом гениальный писатель, живущий в век усиленного научного развития, может так упор-

но отрицать науку и оказывать ей всяческое противодействие.

Давно умерший мой старший брат Иван Ильич (смерть которого послужила канвой для всем известного рассказа Толстого),¹⁷⁰ хорошо знавший Толстого, уверял меня, что, несмотря на его поразительную гениальность, он не отличался глубоким и логическим умом. Чтобы пояснить свою мысль, мой брат сделал следующее сравнение: «Вот ты,— говорил он мне,— профессор зоологии; ты отлично знаешь все учение, касающееся лесной дичи. Ты знаешь, например, что написано о вальдшнепе на разных языках, как устроены его внутренности и тому подобное. Но, идя на охоту, я возьму не тебя, чтобы ты помог мне найти вальдшнепа в лесу, а собаку, которая, ничего не зная о нем, разыщет его гораздо лучше, чем ты, одним чутьем. Таков и Толстой. Чутье его относительно внутреннего содержания человеческой души необыкновенно, и он отгадывает самые скрытые побуждения с изумительной верностью. Там же, где нужно решить вопрос при помощи рассуждения и логики, Толстой очень часто не выдерживает критики».

С молодых лет интересующемуся общими вопросами о человеческих делах и особенно вопросом об основе нравственности, о смысле жизни и неизбежности конца ее, мне давно хотелось ближе познакомиться с Толстым и из личного общения узнать его истинное отношение к ним. Я поэтому с радостью воспользовался случаем побывать у него.

Весной 1909 г. мы с женою ранним утром приехали в Ясную Поляну.¹⁷¹ Войдя в переднюю старого и довольно обветшалого помещичьего дома, я увидел сходящего с лестницы Льва Николаевича в белой подпоясанной блузе. Он пристально посмотрел на меня своими пронзительными светлыми глазами и, прежде всего, сказал, что находит меня мало похожим на виденные им мои изображения. После нескольких слов приветствия он оставил нас со своими детьми и, по обыкновению, ушел работать к себе наверх.¹⁷² Вернулся он к завтраку в приветливом настроении и весело говорил на разные темы. Ел он кушанья отдельные, пригото-

ленные для него: яйцо, молоко и растительную пищу. В конце завтрака он выпил немного белого вина с водою.

За столом Толстой намеренно не возбуждал разговора на интересные общие темы, так как хотел это сделать с глаз на глаз.¹⁷³ Для этого он предпринял поездку в соседнее имение Чертковых и взял меня в свой маленький экипаж, запряженный одной лошадью, которой он правил сам. Только что мы выехали за ворота усадьбы, как он повел, очевидно, уже ранее продуманную речь.¹⁷⁴ «Меня напрасно обвиняют,— начал он,— в том, что я противник религии и науки. И то и другое совершенно несправедливо. Я, напротив, глубоко верующий; но я восстаю против церкви с ее искажением истинной религии. То же и относительно науки. Я высоко ценю истинную науку, ту, которая интересуется человеком, его счастьем и судьбою, но я враг той ложной науки, которая воображает, что она сделала что-то необыкновенно важное и полезное, когда она определила вес спутников Сатурна или что-нибудь в этом роде. Истинная наука прекрасно вяжется с истинной религией». Развивая далее эту тему, Толстой упомянул о том, что, прежде чем выработать свое теперешнее окончательно мировоззрение, он боялся смерти, но поборол этот страх благодаря своей вере.

Когда он кончил, я сказал ему, что наука далеко не отворачивается от вопросов, которые он считает наиболее существенными, а старается по возможности разрешить их. В кратких словах я изложил ему свое воззрение, основанное на том, что человек — животное, которое унаследовало некоторые черты организации, ставшие источником его несчастий. С этим связаны краткость человеческой жизни и зависящий от нее страх смерти. Когда со временем наука доведет людей до того, что они смогут рационально прожить полный цикл, то инстинктивный страх смерти сам собою уступит место тоже инстинктивной потребности небытия. Когда человечество дойдет до этого, то беспокойство о болезнях, старости и смерти и все сопряженное с этим прекратятся, и люди смогут полнее и спокойнее отдаться искусству и чистой науке.

Внимательно выслушав меня, Толстой заметил, что в конце концов наши мировоззрения сходятся, но с тою разницей, что он стоит на спиритуалистической, а я на материалистической точке зрения. Тем временем мы подъехали к дому Чертковых, и разговор, естественно, переменял свой характер. Затрагивая самые различные темы, мы оба, видимо, хотели подойти ближе к общим вопросам. После нескольких попыток к этому Толстой стал говорить о людской несправедливости и о том, до чего возмутительно, что прислуга, подающая господам за обедом самые роскошные блюда, сама питается объедками и вообще питается очень нехорошо. Я подхватил разговор в том же направлении и развил ту мысль, что со временем, когда наука войдет в плоть и кровь повседневной жизни, она, наверное, устранил эту действительно вопиющую несправедливость. Не подлежит сомнению, что излишнее и роскошное питание не может содействовать желанному правильному циклу жизни и что поэтому многочисленные блюда с повторением нескольких мясных кушаний должны будут отойти в область истории. В то же время питание низших классов должно будет соответственным образом улучшиться. Для того чтобы пояснить, что этот прогресс может быть обоснован не столько на чувстве любви людей друг к другу, сколько на более эгоистической подкладке, а также для того, чтобы показать на частном примере, что забота о благе господ должна отразиться и на благополучии прислуги, я привел пример из моего личного опыта. Я рассказал, как мне пришлось однажды посетить в центральной Франции великолепную помещичью усадьбу, обитатели которой среди господ и прислуги обнаруживали поразительные частые случаи заболевания воспалением червеобразного отростка слепой кишки (аппендицитом). После тщательного исследования всей обстановки оказалось, что несмотря на необыкновенно роскошное и, повидимому, рациональное устройство ее, обитатели, в том числе и господа, заражались извержениями прислуги, скопившимися в помещении, сообщавшемся с запасом навоза, которым удобрялся огород. С сырыми овощами яйца паразитов переходили в кишечный

канал людей, где вылупившиеся из них личинки содействовали развитию аппендицита. Тотчас после этого «открытия» были приняты меры к устранению беды, приведшие к удовлетворительному результату. В этом случае побуждением явилось правильно распознанное чувство, далеко не лишенное эгоистических мотивов. Я привел его здесь не только потому, что он прямо идет к делу, но еще и потому, что в одном из воспоминаний о Толстом, написанном одним из его приближенных, ему был придан совершенно неверный характер чего-то совсем бессмысленного.¹⁷⁵

Так как наш разговор пошел по рельсам нравственно-гигиенических соображений, то достаточно было, чтобы вернуться к тому же сюжету.

Среди беседы вбегает маленькая девочка, внучка Толстого, и начинает заигрывать с собакой. Она берет ее на руки, прижимает, ласкает, целует. Я заметил, что такая близость с животным может оказаться очень вредной для ребенка, так как собаки нередко заражают обильными у них паразитами, особенно кистой эхинококка. Хозяйка дома возразила, что в данном случае этого не может быть, потому что собака, как и все обитатели усадьбы Чертковых, строгие вегетарианцы. Разговор, разумеется, сейчас же направился на эту, столь животрепещущую для Толстого и окружающих его тему. Лев Николаевич оживился и стал развивать свои мысли по этому поводу. Он, по его словам, дошел до того, что вид приносимого окорока или другого какого-нибудь мясного блюда ему сделался отвратительным до тошноты. «Я теперь не могу понять,— сказал он далее,— как это я в былые годы мог увлекаться охотой и по целым дням думать о том, как бы побольше настрелять дичи».

Вмешавшись в беседу, я заметил, что, не сделав в моей жизни ни одного выстрела и ни разу не охотившись ни на какое животное, я, тем не менее, не считаю охоту делом дурным. Не имея возможности прожить полный цикл жизни, да и, очевидно, не сознавая потребности в последнем, животные почти всегда умирают насильственной смертью. Раз начиная стареть, они неизбежно становятся добычей других

животных. Смерть же от хищников и от всякого рода паразитов должна быть несравненно мучительнее, чем большей частью неожиданная и очень быстрая смерть от пули или дробы охотника. Если бы прекратилась охота, то количество хищных животных значительно бы увеличилось, что было бы прямым ущербом и для людей. Что же касается вегетарианства, так пекущегося о счастье животных, то не подлежит сомнению, что всеобщее распространение его повело бы за собой значительное уменьшение этого счастья. Если бы люди перестали есть мясо и внутренности животных, то сохранились бы только такие породы, которые доставляют молоко и яйца (не говоря, разумеется, о животных, от которых человек извлекает шерсть и перья, и о животных, служащих для передвижения и переноски тяжестей). Тогда бы исчезли такие породы, как свиньи, эти эпикурейцы животного мира, видимо, наслаждающиеся своим существованием, и счастье которых так бросается в глаза.

«Послушайте,— возразил Толстой,— если мы будем все подвергать рассуждению, то мы сможем дойти до самых невероятных нелепостей. Пожалуй, в таком случае можно будет оправдать и людоедство». В этом ответе на мои взгляды сказался весь Толстой, и из всего нашего разговора эти слова его мне показались самыми знаменательными. В вопросе такой важности, как вопрос об ядении мяса, захватывающий столько сторон гигиенической и экономической жизни, Толстой видит лишь вопрос, разрешаемый бесповоротно чувством, без всякого соображения с тем, чего требует «рассуждение». Впечатлительность и чувствительность Толстого до такой степени овладели всей его чисто художественной натурой, что умственная сторона, рассуждение и логика у него отошли на задний план. Эта основная черта его характера бросается в глаза во всей его жизни, во всех его произведениях и сказалась также и в разговорах, которые он вел со мною.

Когда в ответ на слова Толстого о людоедстве я сказал, что в Центральной Африке, в Конго, существуют негритянские племена, у которых победители поедают своих пленни-

ков, и когда я рассказал ему подробности о том, как это делается, то Лев Николаевич пришел в волнение и спросил, существуют ли у таких негров какие-нибудь религиозные представления. Я ответил, что им не чуждо поклонение предкам, что религия их сходна с верованиями многих других дикарей и что людоеды Конго считаются не более злыми и дурными, чем их соплеменники, не едящие человеческого мяса. Людоедство в Центральной Африке путешественники объясняют распространением болезни тце-тце (наганá), которая до такой степени губительна для животных, что делает разведение их невозможным. При таких условиях, в виду инстинктивной потребности к питанию мясом, негры и прибегли к поеданию себе подобных.

Толстой настолько заинтересовался этими сведениями, что просил меня прислать ему подробные данные об этом вопросе и еще при прощании сказал моей жене, чтобы она мне напомнила сделать это. Вскоре после возвращения в Париж я выслал ему несколько статей французских путешественников, побывавших в Конго.¹⁷⁶

Наша беседа на балконе дома Чертковых произвела сильное впечатление на меня, так как я нашел в ней ключ к пониманию мировоззрения Толстого.

На возвратном пути в Ясную Поляну Толстой сел верхом на лошадь. Он сразу вскочил на нее, поскакал молодцом, перепрыгивал с нею через ров и вообще имел вид очень бодрый и точно щеголял этим. В эти минуты с его плеч как будто спадало несколько десятков лет.

Когда мы со Львом Николаевичем поднялись в его рабочий кабинет, он, пристально посмотрев на меня, спросил: «Скажите мне, зачем вы, в сущности, приехали сюда?». Несколько смутившись, я ответил, что хотел ближе познакомиться с его возражениями против науки и высказать ему мое глубокое уважение к его художественной деятельности, которую я ставлю несравненно выше, чем его произведения на философские темы. Я затем привел несколько примеров, доказывающих, какое огромное влияние в жизни имеет чистое искусство. «Так как вы так цените мои литературные

труды, то могу сказать вам, что в настоящую минуту я занят чисто художественной работой, в которой хочу изобразить недавнее революционное движение в России; но это должно остаться между нами. Я боюсь только, чтобы из этого не вышло что-нибудь очень скверное, вроде второй части «Фауста». Когда я возразил, что, по-моему, в этом произведении глубокой старости есть в высшей степени художественные места, Толстой выразил сомнение, сославшись на то, что в нем много ни к чему не нужных сцен. Тогда я развил ему свое толкование этой части Фауста, по которому Гете хотел изобразить в ней силу старческой любви, но, боясь вызвать насмешки, опутал свою главную тему множеством туманностей и, действительно, совершенно лишних, нарушающих целостное впечатление сцен. Толстой, заинтересовавшийся этим объяснением, сказал, что в его последней литературной деятельности страстная любовь не играет никакой роли; но что, тем не менее, он непременно перечитает «Фауста»; я же пообещал выслать ему мою книгу «Essais optimistes», в которой я развил мои мысли по поводу этого произведения.¹⁷⁷

Остальная часть дня, проведенная в Ясной Поляне, была посвящена главным образом музыке. Оба мы с наслаждением слушали превосходное исполнение Гольденвейзером некоторых вещей, среди которых Толстому особенно понравились произведения Шопена. Окруженный близкими, он более не возбуждал общих вопросов.

Перед нашим отъездом, довольно поздно вечером, Лев Николаевич очень радушно попрощался с нами и сказал, что, для того чтобы доставить мне удовольствие, он готов даже прожить до ста лет. Когда мы сели в экипаж, он вышел на балкон и оттуда жестом пожелал нам счастливого пути.

Несмотря на то, что черты лица обнаруживали признаки дряхлости, и на то, что память, видимо, была значительно притуплена (он уверял даже, что забыл содержание «Анны Карениной», с чем, впрочем, не согласилась Софья Андреевна), Толстой сохранил в то время, когда я его видел и когда ему было без малого 81 год, еще много физической и ду-

шевой бодрости. Из некоторых его посмертных сочинений видно, что его необыкновенный художественный дар не покидал его до самого конца. Его тонкая чувствительность и чуткость сохранились гораздо полнее, чем чисто умственная способность рассуждения. В общем он произвел на мою жену и на меня самое симпатичное и обаятельное впечатление.

II

Вскоре по возвращении домой я выслал в Ясную Поляну статьи об африканских людоедах и «*Essais optimistes*». В ответ на это я получил от Льва Николаевича несколько официальных, очень сухих строк, поразивших меня резким контрастом с его почти дружелюбным отношением ко мне в Ясной Поляне. Эту перемену я понял только после его смерти, прочитав воспоминания секретаря его Гусева («Два года с Толстым», Москва, 1912). Из них оказывается, что, получив мою книгу, Толстой прочитал в ней отдел не о Фаусте, а о нравственности, и пришел от него в негодование. Вот его слова в передаче Гусева: «Вчера Л. Н. получил от Мечникова его книгу «*Essais optimistes*». Прочитав из нее главу о морали, он сказал: «Это — та же самоуверенность, что у теперешней молодежи. Всех разносить. Старики никуда не годятся. Не то, чтобы признавать в них известные недостатки, а ничего в них нет хорошего» (стр. 302). Я очень удивился, прочитав эти строки, так как чувствую себя совершенно неповинным в юношеской самоуверенности, в которой меня обвинил Толстой. Мое желание научного объективного изложения навело на меня спокойный и холодный тон, ничего общего не имеющий ни с юношеским нетерпимым задором, ни с вспылчивыми отзывами самого Толстого, которые так часто встречаются даже в произведениях последнего периода его жизни, как, например, об ученых, желающих оправдать свою праздную жизнь, и пр. Я объясняю себе возмущение Толстого по поводу моей статьи о нравственности его чрезвычайной, сохранившейся до конца дней, почти болезненной впечатлительностью. Несмотря на то, что я развивал вопрос о противниках вивисекций на животных совершенно спокой-

но, но мое отрицательное отношение к ним, вероятно, очень задело чувствительную струну великого писателя, как и все то, что я говорил о вреде чѣресчур усиленного преобладания чувства над рассудком.¹⁷⁸

Хотя Толстой был совершенно прав, когда во время нашей поездки вдвоем он говорил, что наши цели сошлись в решении главного вопроса человеческой жизни, вопроса о пределе ее, смерти, но пути, по которым каждый из нас шел для этого, совершенно различны, часто даже прямо противоположны.

На основании чтения произведений Толстого и того, что я узнал от него самого и от его близких, я следующим образом представляю себе развитие его взгляда на жизнь и смерти. Крайне чувствительный от природы, при виде вблизи случаев смерти, особенно кончины его любимого брата и других близких ему лиц, он должен был вынести чрезвычайно сильное, прямо подавляющее впечатление. Когда позже наступление старости вызвало в нем мысль о близости собственной смерти с той рельефностью, с какой ему вообще представлялись душевные движения даже посторонних людей, он пришел в настоящий ужас. Состояние это описано им с мастерством, на которое только он был способен, в его «Исповеди» и в «Анне Карениной» устами Левина, его alter ego [второе я]. Вопрос о неизбежности смерти и бессмысленности жизни, ведущей к такому страшному концу, совершенно овладел им. Находясь тогда в периоде развития, когда он разделял материалистическую точку зрения, он стал искать решения мучивших его вопросов в науке. Искание это вряд ли шло дальше поверхности, как и его материализм, так как научные познания его были очень неглубоки. Но даже если бы ему удалось и основательнее проникнуть в научное мировоззрение того времени, то он все-таки не нашел бы удовлетворительного ответа на вопрос, который казался ему самым важным, даже единственным, достойным серьезного внимания. Под тонким поверхностным слоем материалистического или, пожалуй, позитивного мирозерцания у Толстого была глубокая залежь непосредственной прямолинейной чувстви-

тельности и религиозного настроения. Это видно и из его биографии и из его литературных произведений. Герои его, более всего похожие на него, отличались именно значительным преобладанием чувства над рассудком. Желая отметить эту особенность, Толстой часто впадает в преувеличение, выставляя их чересчур непрактическими, неспособными к логическому мышлению. Так, Пьер в «Войне и мире», очень интересовавшийся вопросами о человеческой судьбе, о смысле жизни и смерти, пожелав принять участие в разговоре, «выдвинулся вперед, чувствуя себя одушевленным, сам не зная еще чем и сам не зная еще, что он скажет» (т. VII, 131). Или дальше: «Пьер слушал слова Беннигсена, напрягая все свои умственные силы к тому, чтобы понять сущность предстоящего сражения, но с огорчением чувствовал, что умственные способности его были недостаточны. Он ничего не понимал» (т. VII, 283). Или еще: «У всех были дела до Пьера, которые он должен был разрешить, Пьер ничего не понимал, не интересовался этими делами и давал на все вопросы только такие ответы, которые бы освободили его от этих людей» (т. VII, 416). Копию Толстого, Левина, «рассуждения приводили в сомнения и мешали ему видеть, что должно и что не должно.... он жил, не зная и не видя возможности знать, что он такое и для чего живет на свете» (т. XI, 362).

Эти оба Толстые — Пьер и Левин — нашли свою дорогу под сильным впечатлением от разговоров с очень первобытными людьми. Когда повлиявший так на Пьера солдат Платон Каратаев «говорил свои речи, он, начиная их, казалось, не знал, чем он их кончит». Каратаев «не мог вспомнить того, что он сказал минуту назад» (т. VIII, 70). Несмотря на это, Пьер вывел из такой несвязной речи, что жизнь его «имела смысл только как частица целого, которое он постоянно чувствовал» (т. VIII, 71).

Левин, мучимый страхом смерти, мыслью, что его «закопают и ничего не останется», и остановившийся перед вопросом «к чему?», услышал от одного мужика, что богатый крестьянин, тоже называвшийся Платоном, «для души жи-

вет». Эти слова поразили его, как громом. «При словах мужика о том, что Фоканыч (Платон) живет для души, по правде, по-Божью, неясные, но значительные мысли толпою как будто вырвались откуда-то из заперти и, все стремясь к одной цели, закружились в его голове, ослепляя его своим светом... Левин шел большими шагами по большой дороге, прислушиваясь не столько к своим мыслям (он не мог еще разобрать их), сколько к душевному состоянию, прежде никогда им не испытанному» (т. XI, 366).

Как прежде под влиянием Каратаева у Пьера проснулось пантеистическое верование, так потом у Левина под влиянием слов мужика пробудилось скрытое христианское чувство. В обоих случаях тонкий слой позитивизма легко провалился и уступил внушенному с детства религиозному верованию. Убедившись в том, что нужно жить «по-Божью», Толстой решил, что в смерти «нет ничего ни неприятного, ни страшного» (т. XII, 513). Ему показалось, что если взглянуть на жизнь в ее истинном значении, то становится трудным понять даже, на чем держится странное суеверие смерти» (т. XII, 536). Несмотря на все подобные соображения, Толстой, однако же, не переставал бояться смерти. Около десяти лет после того, как он написал приведенные здесь строки, он в беседе с Лазурским «стал говорить о том, как грустно человеку, который всю жизнь работает, волнуется, стремится к чему-то, всегда иметь в сознании, что все эти страдания должны разом прекратиться и от нас не останется и следа» («Воспоминания о Толстом». Москва, 1911, стр. 78). Близкие Толстому лица мне подтверждали, что страх смерти не покидал его и в старости. И не удивительно, так как этот страх является не в результате умствований, а есть проявление инстинктивного чувства, которого не побороть никакими соображениями, но которое может иссякнуть само с годами, как половое чувство. Несмотря на то, что у Толстого инстинкт жизни и страха смерти был чрезвычайно упорен, несмотря на всю его религию и философию, и у него под конец стало изредка проявляться чувство пресыщения жизнью. В этом отношении особенно характерна его запись

в дневник, сделанная им, когда ему было 80 лет. «Нынче ночью испытал без всякой внешней причины особенно сильное и, мало сказать, приятное, а серьезное, радостное чувство — совершенное отпадение не страха даже, а несогласия со смертью» (Гусев, стр. 187). Это новое чувство, которое начинает проскальзывать иногда раньше, иногда позже, чем у Толстого, и есть инстинкт потребности небытия, подобный инстинкту потребностей во сне.

Таким образом, не своим учением, а своей жизнью Толстой подействовал разрешению вопроса о смысле жизни и смерти; только он в этом не дал себе отчета. Став на точку зрения, навеянную ему разговором с Фоканычем, Толстой не мог не увидеть, что она в полном разрезе с положительным знанием. Отсюда его враждебное отношение к науке. Чтобы оправдать его, он пользовался всяким случаем, чтобы выставить отрицательные стороны научных построений и отметить смешные черты ученых, в чем, разумеется, недостатка никогда не было.¹⁷⁹

Так как из всей области знания к жизни всего ближе медицина и так как она до недавнего времени стояла на весьма шатком основании, то не удивительно, что Толстой с особенным удовольствием отмечает ее недостатки.¹⁸⁰ Но, по принципу своей религии, враждебный науке, он не хотел видеть ее успехов даже тогда, когда они уже прямо бросались в глаза. В этом отношении особенно интересна его беседа с доктором Белоголовым. «Мне очень хотелось бы знать, — спросил Толстой, — ваше мнение относительно этого нового открытия противодифтеритного лечения, о котором так много пишут теперь. Признаете ли вы его действительность?» Здесь явно проглядывает недоверие к успехам экспериментальной медицины. Но еще очевиднее оно из продолжения этого разговора. На ответ доктора о громадном целебном значении сыворотки против дифтерита и вообще открытий, опирающихся на работы Пастера, Толстой возразил: «Разве уж его лечение водобоязни так оправдало себя? Мне кажется, это еще спорно, — сказал Толстой. — Я признаюсь, пока верю только успеху его лечения сибирской язвы» (Белоголовый,

«Воспоминания», СПб., 1901, 557). Этот разговор происходил в конце 1894 г., т. е. в такое время, когда даже в Германии было признано достоинство пастеровских прививок против бешенства. В нем бросается в глаза всегда проявлявшаяся у Толстого самоуверенность в суждении о вопросах, которые ему были совершенно не знакомы, и которая мешала ему видеть истину. Подобно тому как он не оценил сделавших переворот в медицине открытий Пастера, так же точно он ошибся и в суждении о науке вообще. Несмотря на его огромную популярность, Толстой не оказал никакого сколько-нибудь заметного влияния в смысле противодействия науке, которая пошла и идет дальше вперед, обогащая человечество все новыми и новыми приобретениями ради достижения блага и цели человеческой жизни. Можно предвидеть время, когда науке удастся справиться с бедствиями, тяготеющими над людьми, когда заботы о болезнях, страх смерти и боязнь старческих невзгод будут преодолены. Жизнь сложится не помимо рассудка, не против него, а в гармоническом сочетании чувства и разума. Только таким образом люди будут избавлены от тех вечных противоречий, в которых запутывался Толстой и которые привели его к следующему возгласу, вложенному в уста героя его превосходной драмы «И свет во тьме светит» и, очевидно, выражающему мысль самого автора: «Неужели я заблуждаюсь? Заблуждаюсь в том, что верю тебе? Нет, Отец! помоги мне» («Посмертные произведения», т. II, 229).

Можно предвидеть, что человечество не пойдет по следам Толстого в искании истины; но когда оно будет избавлено от теперешних бед, оно подыметься на высший уровень и отдастся науке и искусству в такой мере, о какой теперь можно только мечтать. Тогда оно вполне вкусит то совершенство художественного гения Толстого, которому равного трудно найти на всем протяжении истории литературы.

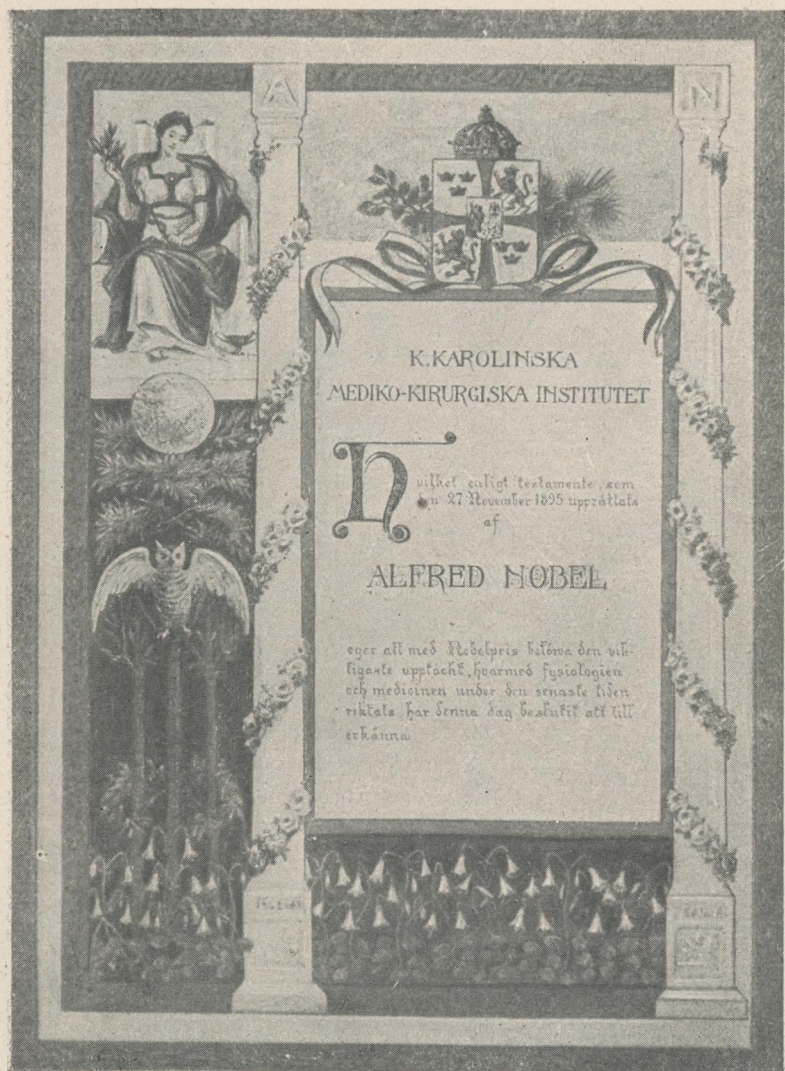
Севр,

13 (26) сентября [1912]

ПРИЛОЖЕНИЯ

Дополнение к приложению № 1. М. 1911. 11 страниц.

ПРИЛОЖЕНИЕ



Диплом о присуждении И. И. Мечникову Нобелевской премии
(1 страница)



Диплом о присуждении И. И. Мечникову Нобелевской премии
(2 страница)

Илья Мечников родился 16 мая 1845 г. в России, в деревне Харьковской губернии. Его отец был офицером царской гвардии и помещиком в степных районах Украины. Его мать, урожденная Невахович, была еврейского происхождения.

Мечников получил свое образование сначала в Харьковской гимназии, а затем на факультете естественных наук в университете этого города.¹⁸² После двух лет занятий в университете Мечников сдал выпускные экзамены на кандидата и тотчас же уехал за границу для завершения своего научного образования. Сначала он изучал морскую фауну на Гельголанде и продолжал свои зоологические исследования в Гиссенском университете под руководством Лейкарта, в Геттингенском университете и в Мюнхенской академии, в лаборатории профессора Зибольда. Кроме того, он работал в Неаполе, где подготовил свои докторские диссертации (эмбриональное развитие *Sepiola* и *Nebalia*).¹⁸³

Возвратившись в 1867 г. в Россию, он получил место доцента зоологии в Новороссийском университете в Одессе, откуда он вскоре перешел с тем же званием в Петербургский университет. Но в 1870 г. он снова возвратился в Одесский университет в качестве ординарного профессора зоологии и сравнительной анатомии. Там он оставался вплоть до 1882 г., когда он подал в отставку в связи с университетскими волнениями, происшедшими в период правительственной реакции, последовавшей за убийством царя Александра II.

После выхода в отставку с профессорской должности Мечников отправился в Мессину в целях продолжения своих исследований по сравнительной эмбриологии. Именно там он

сделал открытие явлений фагоцитоза у низших животных. Это открытие направило его научную деятельность в сторону изучения инфекционных заболеваний и защиты организма против болезнетворных микробов. В течение ряда лет он работает в своей частной лаборатории, но ввиду недостаточности последней он согласился занять место заведующего бактериологической лабораторией в Одессе, созданной в 1886 г. для изготовления вакцин Пастера против бешенства и сибирской язвы.

Фагоцитарная теория, вызвавшая весьма многочисленные возражения, потребовала новых исследований в широком масштабе. В целях их осуществления в наилучших условиях Мечников обратился в 1888 г. к Пастеру с просьбой принять его в свой только-что построенный Институт. Великий ученый предоставил ему исследовательскую лабораторию и назначил заведующим отделением в своем Институте. В 1905 г. Мечников получил звание заместителя директора Института Пастера, которое он сохраняет и в настоящее время (1909).

Первый период своей научной деятельности Мечников посвятил сравнительной эмбриологии низших животных. В этой области он опубликовал ряд работ, среди которых один том по эмбриологии насекомых (*«Embryologische Studien an Insecten»*, 1866) и другой — по эмбриологии медуз (*«Embryologische Studien an Medusen»*, 1886).

С 1883 г. Мечников посвятил себя микробиологии. Сначала он опубликовал (1884—1888) серию работ в *«Virchow's Archiv für pathologische Anatomie»*, а с 1887 г. он стал сотрудничать в *«Annales de l'Institut Pasteur»*. Именно в этом последнем он опубликовал большое количество мемуаров, составленных как им самим, так и его учениками. Кроме того, Мечников опубликовал в 1892 г. книгу о сравнительной патологии воспаления, и в 1901 г. — свой труд «Невосприимчивость в инфекционных болезнях». ¹⁸⁴

После установления клеточной теории иммунитета Мечников в сотрудничестве с д-ром Ру проделал работы по экспериментальному сифилису у обезьян. В последние годы Меч-

ников посвятил себя изучению кишечной флоры в связи с болезнями кишечного канала и обмена веществ.

В 1891 г. Мечникову была присвоена степень почетного доктора наук Кембриджского университета. Кроме того, он был избран иностранным членом Лондонского Королевского Общества и членом Парижской Академии медицины, а также почетным академиком Петербургской Академии Наук и Военно-медицинской академии и членом-корреспондентом многих других академий, в том числе членом Шведского медицинского общества в Стокгольме.¹⁸⁵

Мечников удостоен медали Коплея и Института народного здоровья в Лондоне, медали Уайльда в Манчестере и Нобелевской медали в Стокгольме.¹⁸⁶

Они являются выдающимися работами, которые не только дали нам представление о том, что такое иммунитет, но и показали, что иммунитет — это не только способность организма сопротивляться болезням, но и способность организма к самозащите. Это — величайшее открытие в истории медицины. Оно объясняет, почему некоторые люди болеют реже, чем другие, и почему некоторые люди живут дольше, чем другие. Оно также объясняет, почему некоторые люди страдают от аллергии, а другие — нет. Это — величайшее открытие в истории медицины. Оно объясняет, почему некоторые люди болеют реже, чем другие, и почему некоторые люди живут дольше, чем другие. Оно также объясняет, почему некоторые люди страдают от аллергии, а другие — нет.

ИСТОРИЯ УЧЕНОГО, БЫВШЕГО ПЕССИМИСТОМ В МОЛОДОСТИ И СТАВШЕГО ВПОСЛЕДСТВИИ ОПТИМИСТОМ ¹⁸⁷

К счастью, я очень близко знаком с лицом, прошедшим через период жизни, окрашенный крайне мрачным мировоззрением. Большая близость к этому другу позволяет мне воспользоваться моими наблюдениями для вышеизложенной цели. ¹⁸⁸

Родители его обладали хорошим здоровьем, он был воспитан при средней зажиточности и вообще в хороших условиях. Благодаря деревенской жизни он избег детских болезней, развивался вполне здоровым, хорошо учился в гимназии и в университете. Убежденный в том, что лишь одна наука способна доставить людям истинное счастье, и страстно любя ее, юноша с большим рвением и настойчивостью пошел по научной дороге.

Он был крайне нервен, и это, с одной стороны, помогало ему в его работе, а с другой — служило источником множества бедствий. Он стремился поскорее достигнуть цели, и встречаемые по дороге препятствия сильно склоняли его к пессимизму. Так, сознавая свои способности, он считал, что старшие должны помогать его развитию. Но, видя равнодушные, довольно естественные и особенно распространенные среди людей, уже достигших цели, молодой ученый пришел к заключению, что против него интригуют и что хотят подавить его научные силы. Отсюда возник целый ряд столкновений и бед. Невозможность выйти из этого положения так скоро, как это было желательно, вызвала в нем очень пессимистическое настроение. Он говорил себе, что в жизни главное — уметь приспособляться к внешним условиям. Те же,

которые не способны на это, устраняются путем дарвиновского закона естественного подбора. Выживают не лучшие, а более ловкие. Разве история земного шара не показывает нам, что множество низших животных пережило существа, несравненно более развитые и сложные по организации? В то время как навсегда исчезло столько ближайших к человеку высших млекопитающих, низшие животные, как, например, зловонные тараканы, сохранились с отдаленных времен и кишат вокруг человека, не особенно смущаясь всем тем, что он делает для их уничтожения.

Как животный мир, так и эволюция человека показывают, что утонченность нервной системы развивает умственную чувствительность, мешающую приспособлению и служащую источником непоправимого зла.

Малейшее оскорбление самолюбия, колкость со стороны товарища — все это повергало нашего пессимиста в самое тягостное настроение. Нет, не стоит иметь друзей, если это служит поводом к постоянным глубоким уязвлениям! Лучше забиться в какой-нибудь угол и жить спокойно среди своих научных занятий.

Молодой ученый обожал музыку и часто посещал оперу. Между прочим, ему запала в душу ария из «Волшебной флейты» «Будь я мал, как улитка, забился б я в свою скорлупку!».

К усиленной нравственной чувствительности присоединялась не менее повышенная и физическая. Всякие шумы, как свист паровика, выкрикивания уличных продавцов, лай собак и т. д., вызывали в нашем ученом крайне болезненные ощущения.

Малейший просвет среди ночи мешал ему спать. Неприятный вкус большинства лекарств делал применение их для него невозможным.

«О! тысячу раз правы философы-пессимисты, — говорил он себе, — утверждая, что неприятные ощущения несравненно сильнее приятных!». Ему незачем было делать опытов с «густиями» или «олфактиями» (вкусовыми или обонятельными единицами) для того, чтобы в этом убедиться. ¹⁸⁹

Он был уверен, что род человеческий не в состоянии приспособиться к внешним условиям благодаря своей физической организации и что его должна постигнуть та же участь, как человекообразных обезьян и мамонтов, исчезнувших из Европы вследствие неспособности примениться к перемене обстановки.

Обстоятельства жизни еще более усилили пессимизм моего друга. Женившись на чахоточной и не имея состояния, он должен был стать лицом к лицу с самыми крупными бедствиями в жизни. Прежде здоровая молодая девушка сильно простуживается в одном из северных городов. «О, это не важно,— говорят доктора,— грипп теперь везде свирепствует и никому его не избежать. Немного терпения и спокойствия, и все пройдет!» Но «грипп» не проходил, а привел к общему ослаблению и видимому исхуданию. На этот раз врачи нашли небольшое притупление в верхушке левого легкого. «Несомненно, есть кое-что, но, ввиду отсутствия наследственного предрасположения, нет причины к серьезным опасениям».

Не стану описывать продолжения общеизвестного хода этой истории. Незначительный грипп превратился в «катар левой верхушки» и через 4 года привел к смерти после неописуемых страданий. Под конец, когда весь организм был уже расшатан, больную облегчал один морфий. Под его влиянием она проводила относительно спокойные часы без болезненных ощущений. Возбужденное воображение ее вызывало всякие представления, почти галлюцинации.¹⁹⁰

Неудивительно, что эта болезнь и смерть страшно сразили моего друга. Пессимизм его был уже прочно установлен. Вдовец в 28 лет, истощенный физически и нравственно, он по примеру своей жены искал успокоения в морфии. «Но морфий — яд и в конце концов расстроит организм и погубит трудовую жизнь»,— говорил он себе. «Но к чему жить? Наш организм так плохо устроен, что приспособление к внешним условиям невозможно, по крайней мере, для людей со слишком чувствительной нервной системой! Не лучше ли способствовать естественному подбору и уступить место дру-

гим?» И действительно, слишком большой прием морфия почти разрешил задачу. Он вызвал необычайно блаженное состояние одновременно с почти окончательным упадком физических сил...¹⁹¹

Мало-по-малу жизненный инстинкт стал, однако, пробуждаться, и мой приятель снова принялся за работу. Но пессимизм продолжал составлять основу его характера. «Нет, не стоит дорожить жизнью и преступно создавать новые существа!» *

Нравственная и физическая чувствительность не уменьшались и приводили к множеству страданий. «Несправедливость» и «непонимание» людей отравляли жизнь моего друга, а через это отражались и на его близких. Однако преданный уход и усиленная забота сделали его существование более сносным, хотя нимало не уменьшили его пессимистического образа мыслей. Ему ничего не стоило прибегать к морфию из-за какой-нибудь «несправедливости» или раздражения. Наконец, новый припадок отравления положил предел злоупотреблению ядом.

Прошли годы. В спорах с близкими о цели жизни приятель мой продолжал с увлечением отстаивать пессимистические теории. Однако изредка в него стало прокрадываться сомнение в искренности его доводов. Такое недоверие к себе удивляло его, так как он был вообще правдивым и искренним по природе.

Разбираясь в своем душевном состоянии, он подметил в себе нечто новое.

* Мой критик, К. К. Толстой, очень дурного мнения о моем друге. Он считает его трусом и сравнивает с «зайцем, которому со всех сторон грозят опасности», и думает, что он «мирится с жизнью потому, что она стала давать ему личные наслаждения, хотя и очень скромные» (I. с., стр. 168). По обыкновению мой критик поспешно судит о том, чего не знает достаточно. Мой друг, которого К. К. Толстой представляет себе в виде трусливого зайца, неоднократно прививал себе болезнетворных микробов и во время своих работ чересчур часто подвергался опасности заразиться самыми страшными бактериями, не исключая чумных. Что же касается «личных наслаждений» моего друга, то среди них первое место занимало исследование научных задач, в которых он видел самую действительную пользу для людей.¹⁹²

За эти длинные годы изменились в нем не идеи, а скорее чувства и ощущения. В интенсивности последних произошла большая перемена с тех пор, как он достиг зрелого возраста, между 45 и 50 годами.¹⁹³ Неприятные звуки уже не так сильно действовали на него, как прежде, и он мог спокойнее слышать мяуканье кошки или уличные крики продавцов. Вместе с ослаблением чувствительности и характер стал спокойнее. Те несправедливости и уколы самолюбия, которые прежде неминуемо приводили к уколам морфия, теперь уже не вызывали никаких внешних признаков огорчения. Ему легко удавалось скрывать последнее, да и ощущал он его без прежней остроты. Вследствие этого и характер его стал гораздо лучше для окружающих и несравненно более уравновешенным. «Это — наступление старости, — сказал себе мой друг. — Я с меньшей силой воспринимаю неприятные ощущения, но зато и к приятным отношусь равнодушнее. Однако относительная пропорция их должна быть та же, т. е. зло все-таки вызывает гораздо более сильное впечатление, чем добро».

Благодаря анализу и взвешиванию своих впечатлений приятель мой открыл в себе еще нечто новое, так сказать, цену нейтральных ощущений. Он менее страдал от дисгармоничных звуков и менее наслаждался музыкальными, но тишина доставляла ему громадное удовольствие.

Просыпаясь среди ночи, он ощущал род блаженства, напоминавшего ему то, которое в былое время доставлял ему морфий: оно заключалось в отсутствии всяких звуков, как приятных, так и неприятных.

Приятель мой становился выносливее к невкусным лекарствам, но в то же время равнодушнее к изысканной еде, которую ценил в молодости. Теперь всего больше удовольствия доставляли ему самые простые кушанья.

Стакан воды и кусок черного хлеба сделались для него настоящим лакомством. Он полюбил пресные блюда, которых прежде избегал.

В психическом развитии моего старого друга произошла перемена, аналогичная той, которая наступила одно время в

эволюции искусства и литературы, когда яркие краски уступили место полинялым, как у Пювис-де-Шаванна, когда изображение полей и лугов заменили горы и озера, а трагические и романтические сцены уступили место картинам обыденной жизни. Вместо того, чтобы искать наслаждения в горах и вообще в «живописных» местностях, он стал удовлетворяться видом распускающихся листьев в своем саду и наблюдением того, как улитка, поборов свою робость, выпускает щупальцы из раковины. Самые простые явления, как лепет или улыбка грудного ребенка, первые слова и рассуждения детей, стали для него источником настоящего счастья.

Как объяснить эти перемены, потребовавшие столько лет для своего осуществления? Развитием чувства жизни, думаю я. В молодости инстинкт этот слабо выражен.

Подобно тому, как вначале половые сношения доставляют молодой женщине скорее страдания, чем наслаждение, подобно тому, как ребенок плачет при рождении, точно так же и в жизненных впечатлениях в продолжение долгого периода страдания воспринимаются сильнее наслаждений, особенно при усиленной чувствительности. Но чувства и ощущения могут изменяться: они следуют определенному развитию, которое и приводит, при нормальных условиях, к психическому равновесию. Поэтому даже такой упорный пессимист, как мой приятель, кончил тем, что присоединился к моему оптимистическому мировоззрению. Споры, которые мы вели так давно по этому поводу, привели нас к полнейшему соглашению. «Но для того, чтобы понять смысл жизни,—говорил он,—надо долго прожить; без этого находишься в положении слепорожденного, которому воспевают красоту красок!» Одним словом, на склоне лет мой приятель из бывшего пессимиста обратился в убежденнейшего оптимиста, хотя это не мешало ему сильно страдать, всего более ввиду болезни или горя близких ему лиц.¹⁹⁴

ПИСЬМА К МАТЕРИ

(1864—1868)¹⁹⁵

I

Гельголанд, 31 июля (12 августа) 1864 г.

Милая мама... я думаю остаться на острове еще целый месяц, по прошествии которого я поеду (желаю поехать) на десять дней в Гиссен, где будет от 17/5 до 25/13 сентября собрание натуралистов и врачей со всей Европы. Это собрание слишком заманчиво, чтобы я не предпринял всевозможных средств для того, чтобы посетить его; кроме большой пользы от совещания с учеными людьми, я имею возможность заняться в богатейших коллекциях профессора Лейкарта, что очень важно для довершения моих работ на морском берегу, которые продолжают идти очень успешно. Для приведения в исполнение моего горячего желания воспользоваться такими сокровищами я должен прожить лишних три недели на Гельголанде, сделать путешествие в Гиссен и обратно и прожить в Гиссене десять дней на ту сумму, с которой я думал протянуть до 24/12 августа...¹⁹⁶ Вместо квартиры в гостинице, я нанял себе комнату у одного рыбака, за которую плачу вдвое дешевле. Вместо обеда и кофе, которые я имел, я питаюсь, чем Бог пошлет, издерживая 30 коп. на еду (которая здесь дешевле, так как все получается из Гамбурга или из Англии); вместо двух или трех раз, я переменяю белье один или два раза в неделю (за что плачу меньше прачке). Таким образом, сбереженные деньги с прибавлением моей запасной суммы (которую я берег для первоначальной жизни в Петербурге) составляют достаточный капитал, на который я могу доставить себе столько пользы и наслаждения: 1) я пробуду лишних три недели на морском

берегу и тем значительно увеличу свои познания и коллекции; 2) я посещу собрание и 3) буду работать в коллекциях Лейкарта и пользоваться его советами и книгами. Ради Бога не сочти описание моей новой жизни за жалобу или ропот; наоборот, я так счастлив, имея в виду столько пользы, и еще тем, что я не могу упрекнуть свою совесть в бесполезном растрачивании денег, добытых любовью и заботой, что в такой обстановке я готов бы находиться почасе. Пожалуйста не вообрази также, чтобы я занятиями расстроил свое здоровье; даю тебе честное слово, что до сих пор у меня даже ни разу голова не болела. Да я и не верю, чтобы занятиями можно расстроить здоровье: я видел много ученых немцев, которые кулаком вола убьют. Вообще я умоляю тебя быть насчет меня совершенно спокойной, тебе и без меня много тяжелых забот, а я теперь поставлен в такие хорошие условия, что, кажется, печалиться нечего. Крепко целую твои ручки и остаюсь любящий тебя Ил. Мечников... Пиши, пожалуйста, чаще. Я так дорожу каждым твоим словом.

II

[Осень, 1868]

...Недавно у меня в течение двух недель было воспаление в горле — вещь, которая теперь уж совсем прошла и о которой я тебе не писал бы вовсе, если бы она не имела связи с другим делом. Когда я сделался нездоров, то Бекетовы перевели меня к себе, так как в моей квартире, где я совершенно один, невозможно мне было справиться.¹⁹⁷ Живя у них, я имел отличный случай убедиться в том, что мои возлюбленные дети меня совершенно не любят, особенно та, к которой я был более всех привязан... Так и лопнули те планы, о которых я мечтал.¹⁹⁸ Мне это было весьма неприятно, так как после моих научных дел это обстоятельство меня все-таки близко касалось. Я ведь никаких знакомств почти не имею и терпеть их не могу; люблю же, чтобы был кто-нибудь, к кому можно было бы привязаться и в сообществе с кем я мог бы отдыхать. Я бы огорчился еще хуже, если бы не видел, что моим неприятностям, какого бы рода

они ни были, сочувствует Людмила, о которой я тебе летом рассказывал.¹⁹⁹ Я и тогда с ней был в большой дружбе, теперь же мы сблизились еще больше, и, чего доброго, лишние 800 рублей, которые я буду получать, мне, пожалуй, понадобятся. Я тебе буду обо всем писать, милая мама, потому что уверен, что ты будешь мне более всех сочувствовать, и потому что я сам тебя больше всех люблю и более доверяю. До свиданья, дорогая моя, целую твои ручки. Твой *Ил. Мечников.*

III

[Декабрь, 1868]

Сегодня я получил твое письмо от 19 декабря, милая мама, которое меня очень огорчило. Ты с сомнением относишься к моему делу, советуешь быть осторожным и хотя пишешь, что веришь в мое благоразумие, но все-таки боишься, что я увлекаюсь.²⁰⁰ Если я в самом деле благоразумен, то зачем предполагать слепое увлечение; если же теперь увлекаюсь, то вряд ли меня можно сделать благоразумным. Я тебе в самом деле говорил, что очень люблю Бекетовских детей, но разве я тебе хоть раз выговорил, что они меня любят также?... Ты совершенно несправедливо думаешь, что Людмила мне прежде не нравилась. Я в нее не был влюблен, но находился с ней в очень дружеских отношениях и хотя не считал ее идеалом женщины, но все-таки был уверен в том, что она вполне честный, добрый и хороший человек. Именно то обстоятельство, что я долго знал Людмилу, прежде чем притти к мысли на ней жениться, может тебе показать, что существуют шансы в пользу моего беспристрастного отношения к ней и отсутствия слепого увлечения. Она меня весьма любит, и это не подлежит сомнению, как ты, наверно, сама узнаешь, если познакомишься с нею. Я ее также люблю весьма сильно, и это уже составляет весьма основательный фундамент для будущего счастья, хотя, разумеется, я не могу тебе поручиться, что мы во что бы то ни стало будем весь век жить голубками. Какое-то розовое, беспредельное блаженство вовсе не входит в мои планы от-

относительно отдаленной будущности. А я никак не могу сообразить, почему бы было лучше, если бы я стал ждать, пока у меня разовьется мизантропия — вещь, на которую я оказываюсь весьма способным. Ты, пожалуйста, не подумай, что если я не мечтаю о розовом счастье, то это означает, что я не ощущаю счастья вовсе. Это совершенно несправедливо, так как я нахожусь совершенно на середине. Я очень люблю Людмилу, и мне весьма хорошо с нею, но в то же время я сохраняю способность ощущать неудовольствие от каких бы то ни было неудобств и отнюдь не считаю, что достаточно любить друг друга для того, чтобы быть счастливыми. Оттого-то я на первом плане хлопотал о профессуре и принимал это финансовое дело очень близко к сердцу.²⁰¹

IV

[Декабрь, 1868]

Милая мама, в прошлом письме я тебя уже предупреждал относительно Людмилы Федорович, так что теперь могу сообщить о ней некоторые сведения, которые тебе, разумеется, интересны. Она недурна собой, но не более. У нее хорошие волосы, но зато дурной цвет лица. Ей почти столько же лет, как и мне, т. е. 23 с лишним года. Родилась она в Оренбурге, потом долго жила в Кяхте, затем она года два жила за границей и, наконец, поселилась в Москве. Эта Людмила, или Люся, как ты помнишь, весьма старательно была посредником между мною и детьми Бекетовых, к которым я был очень сильно привязан.²⁰² Но она сама меня тогда любила, хотя и уверяла себя постоянно, что я, так сильно любящий детей Бекетовых, ни под каким видом не могу ей сочувствовать. И она была совершенно права, но до тех только пор, пока сохранялась моя любовь к детям; с тех же пор, как она прекратилась, я, само собой разумеется, стал более обращать внимание на расположение ко мне Люси и не удивляюсь поэтому, что сильно полюбил ее. В ней такие недостатки, которые, на мои глаза, покажутся большими, чем тебе, но что же с этим делать! Хорошо, что она сама их знает. Недостаток ее самый существенный состоит в слишком

покойном характере, в отсутствии большой живости и пред-
приимчивости, в способности скоро сживаться с дурной об-
становкой. Но зато, будучи покойным, у нее характер силь-
ный,— она может много переносить и оставаться вполне
рассудительной. Она в высшей степени добрая и милая, и в
характере у нее я до сих пор не нашел ни одной грубой
черты. Я ведь пишу тебе и о недостатках, следовательно, ты
не должна думать, что я чересчур увлекаюсь Люсей и пото-
му нахожу в ней достоинства. Факт положительный тот, и я
забыть этого не могу, что всегда, когда я себя чувствовал
почему-либо скверно, то она, т. е. сношения с нею меня
успокаивали. Как бы мрачно я ни смотрел на будущее
(а мой характер, как знаешь, не особенно побуждает меня
смотреть сквозь розовые очки), все-таки я не могу не при-
знавать того, что, живя вместе с Люсей, я по крайней мере
на довольно долгое время сделаюсь спокойным и перестану
страдать от той нелюдимости, которая на меня напала в по-
следнее время. А это для меня крайне важно. Детей иметь
не предполагается; это тебе говорит эмбриолог, т. е. специа-
лист по истории развития. Предполагается, напротив, как
можно меньше связываться, хотя нельзя будет обойти за-
конных треб, которые совершены будут, вероятно, в янва-
ре.²⁰³ Хотя Люся имеет только незначительную собствен-
ность, но я буду вполне обеспечен повышением оклада.
Жаль, что это дело вследствие всегда присущих формально-
стей несколько затягивается, но во всяком случае состоится.
Пожалуйста, пиши мне, моя дорогая, милая мама, все, что
тебе придет в голову по поводу моего дела. Порадуйся тому,
что я теперь очень счастлив, и пожелай мне и впредь всего
хорошего. Прошу о том же и папу, которому шлю поклон.
Целую тебя, моя родная, и остаюсь сильно любящий тебя

Ил. Мечников.

ПИСЬМО ПИРОГОВУ (1864)²⁰⁴

Его превосходительству действительному статскому советнику и кавалеру, Николаю Ивановичу Пирогову

Ильи Мечникова записка

Вследствие письма Вашего превосходительства к профессору Лейкарту исполняю неотлагательно Ваше требование и сообщаю в следующих строках данные, имеющие значение в деле получения стипендии от министерства народного просвещения, за обязательное участие в котором я глубоко благодарю Ваше превосходительство...²⁰⁵

Еще во время пребывания во 2-й Харьковской гимназии я занимался естественными науками и штудировал гистологию (впоследствии и зоологию) под руководством проф. Щелкова. Кончив гимназический курс в 1862 г., я вступил в императорский Харьковский университет, где продолжал заниматься в лаборатории названного профессора и где сделал следующие работы: «Исследования о Штиле Вортицеллей», «Заметки о новом виде из рода *Diplogaster*», «О паразитизме у инфузорий (*Sphaerophrya*)» и «Новые заметки о Штиле Вортицеллин»; эти работы напечатаны в «Записках императорской Академии Наук» и частью, в пополненном виде, в «Archiv für Anatomie und Physiologie» («Untersuchungen über den Stiel der Vorticellen», 1863, № 2; «Bemerkungen über eine neue *Diplogaster*», 1863, № 4; «Über die Gattung *Sphaerophrya*», 1864, № 2; «Nachträgliche Bemerkungen über den Stil der Vorticellinen», 1864, № 3).

В этом году, по совету некоторых профессоров естественного факультета в Харькове, я приступил к держанию окончательных экзаменов (для чего за короткое время перед этим перешел из студентов в вольные слушатели) и, выдержав

их с кандидатскими отметками, поехал (в начале июня), чтобы познакомиться с фауной моря, на о-в Гельголанд, где пробыл до половины сентября и где, кроме штудий, сделал следующие работы: «Zur Naturgeschichte der Rhabdocoelen» (эта статья печатается и войдет в состав ближайшей книжки «Archiv für Naturgeschichte»), «Beitrage zur Kenntniss der Chaetopoden» и «Über die Nematoden der Nordsee»; последние две работы уже приготовлены к печати. Кроме того, я сообщил в редакцию «Отчета о собрании натуралистов и врачей в Гиссене» изложение произнесенной мною на этом собрании речи «об органах чувств аннелид», краткое извлечение из которой помещено в «Tagblatt der Naturforscherversammlung», № 4. На Гельголанде я приготовил также свое кандидатское рассуждение «Исследование фауны Северного моря», которое уже одобрено факультетом.

Приехав с о-ва Гельголанда прямо в Гиссен, я остался здесь с целью заниматься под руководством проф. Лейкарта зоологией (в обширном смысле), обращая сначала наибольшее внимание на нематод, организация и развитие которых составляют теперь предмет моих специальных исследований...

Не имея, однако, возможности обеспеченно существовать за границей на счет моих родителей, я стал хлопотать о получении стипендии от министерства (на правах молодых людей, посылаемых министерством на два года для продолжения ученых занятий), что я решился сделать, опираясь на рекомендацию, которую Харьковский университет послал в министерство вместе с просьбой утвердить меня кандидатом (без коллоквиума), и на участие его высокопревосходительства Евграфа Петровича Ковалевского, предложившего свое ходатайство в моем деле.

Находя необходимым содействие Вашего превосходительства, я с большой благодарностью принял предложение профессора Лейкарта обратиться к Вам с просьбой об участии. Благосклонный ответ Вашего превосходительства профессору Лейкарту вызвал предыдущие строки, содержащие сведения, которые Вы находите нужными для хода дела.²⁰⁶

Гиссен, 6 декабря 1864 г.



ИМПЕРАТОРСКАЯ АКАДЕМІЯ НАУКЪ,

на основаніи Устава, Высочайше дарованнаго ей въ 8 день
Января 1836 года, избрала дѣйствительнаго статскаго совѣтника

ИЛЮ ИЛЬИЧА МЕЧНИКОВА

въ свои почетные члены и постановила выдать ему настоящий
дипломъ. С.-Петербургъ, 29 Декабря 1902 года.

Президентъ

Вице-Президентъ

Непремѣнный Секретарь

№ 1238

Диплом о присужденіи И. И. Мечникову званія
почетнаго академика

Mexico. 22 August 1868.

[illegible]

Из записной тетради И. И. Мечникова
Запись 22 августа 1868 г.
(автограф)

Мессина, 22 апреля, утро, 1868

Когда я получил письмо от Клапареда, в котором он пишет о скором выходе Сравнительной истории развития Артропод Дорна, то дурное расположение духа, дурное, вследствие постоянной, мешающей работать боли глаз, сделалось еще хуже: мне стало скверно, оттого, что вырывают из моих рук одну из моих целей, и оттого, что вследствие глазной боли я, может быть, лишен буду возможности отстоять свои положения, которые я прежде высказал.²⁰⁸ Я бродил и почувствовал ужасную потребность быть любимым, потребность всяких нежных излияний. Конечно, тотчас же стал вспоминать и думать о детях, но больше думал о Лю.²⁰⁹ — Очевидно, что любовь является отличной поддержкой в тех случаях, когда чувствуются удары в самые больные места. Но при такой постановке [зачеркнуто: в таком положении] любовь оказывается, очевидно, стоящей на втором плане; без такой любви можно обойтись в то время, когда ударов не ощущается, когда все идет нормально. Это не та любовь, которая составляет для человека половину всего его существования и которая должна сопутствовать семейное счастье. Из всего следует, что, пока человек не разбит, пока он силен, ему не следует ничего основывать на поддерживательной любви. Если же человек чувствует себя совсем и навсегда раздерганным, то ему можно основывать кое-что и на поддерживательной любви, но тогда уже прочь семейство — дети. —

ПИСЬМО ШПЕНГЕЛЮ (1905)²¹⁰

Париж, 21 апреля 1905

Почтеннейший друг,

Хотя я высоко ценю работы Шаудинна, но мне невозможно выполнить Ваше пожелание о предложении его моим кандидатом на Нобелевскую премию, так как я уже много лет выступаю за Коха. Пока Кох не получает никакой премии, я принципиально не буду рекомендовать никакого другого исследователя, так как, по моему мнению, по своим заслугам перед медициной Кох далеко превосходит всех своих конкурентов. С наилучшим приветом дружески преданный Вам

Ил. Мечников

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО К КОРРЕСПОНДЕНТУ ГАЗЕТЫ

«ОДЕССКИЕ ЛОВСТИ» (1903) 211

Париж, 15 апреля 1908 г.

Милостивый государь!

Я узнал из русских газет о моем забаллотировании в Одессе.

Несколько месяцев раньше я получил от исправляющего должность одесского городского головы запрос о моем имущественном цензе. Так как весь этот вопрос меня нимало не интересует, то я не ответил на этот запрос.

Будучи профессором в Одессе, я был избран почетным мировым судьей и участвовал как таковой в заседаниях съезда мировых судей и окружного суда. Покинув Одессу двадцать лет тому назад, я этим самым стал вне всякой деятельности в ней в качестве почетного мирового судьи. Я знаю, что меня выбирали в таковые, но я нахожу совершенно естественным, что теперь, после окончательного выезда из Одессы, меня забаллотировали.

Я совершенно не знаю подкладки этого дела, если она существует, но был бы очень удивлен, если бы в нее замешалась политика. Я ведь всю жизнь провожу в лаборатории и устраниюсь от всяческой политической деятельности, как правой, так и левой.

С истинным почтением Ваш

Илья Мечников